

АНДРЕЙ ВОРОНЦОВ



ЧЕЛОВЕК В ЗЕЛЁНЫХ ОЧКАХ

РАССКАЗ

Я повстречал этого слепого старика несколько лет назад на узких улочках крымского Симеиза. Было ему лет восемьдесят или около того. Ходил он, как и все незрячие, выстукивая дорогу тонкой палочкой, и носил круглые зелёные очки в допотопной — может быть, роговой — оправе. Столь же древним был его костюм, — точнее, не костюм даже, а санаторная холщовая пижама с жирным штампом на нагрудном кармане: “Сан. им. XXII партсъезда”. В остальном он ничем не отличался от слепых, когда-либо встреченных мною в жизни, за исключением одной странности, относившейся, впрочем, не столько к самому старику, сколько к окружающим его людям.

Обитатели Южного берега Крыма, особенно пожилые, в большинстве своём люди доброжелательные и внимательные к калекам. В том же Симеизе сидит на тротуаре возле кафе “Виноград” безногий баянист, нестарый ещё алкоголик. Играет он плохо, поет ещё хуже (никогда не слышал, чтобы он исполнил хотя бы одну песню до конца, даже “под заказ”). Местные ему денег не подают, но подкармливают. Всегда стоит перед ним мисочка с едой, вынесенная из кафе поварихой или официантками. А если ему надо перебраться на костылях через заполненную автотранспортом Советскую улицу, чтобы в забегаловке напротив промочить горло, неизменно находятся добровольные регулировщики движения. Тем удивительней, что слепому дряхлому старику, который не пил вмертвую, как безногий баянист, не орал чепуху и не спал прямо на тротуаре, симеизцы переходить улицу не помога-

ВОРОНЦОВ Андрей Венедиктович родился в 1961 году в Подмоскowie. Окончил медицинское училище, работал фельдшером на “Скорой помощи”, одновременно учился в Литературном институте им. А. М. Горького. Автор романов “Огонь в степи” (“Шолохов”), “Тайный коридор”, “Необъяснимые правила смерти”. Член Союза писателей России.

ли! Во всяком случае, я этого не видел. Обычно помощь слепому на перекрёстке предлагали отдыхающие, которых отличить по внешнему виду от крымчан не составляет труда. Другая странность — южане общительны, все в маленьких курортных городках — приятели или соседи, а со стариком в зелёных очках никто не перебрасывался и полсловечком! Местные, и стар и млад, смотрели на него, словно сквозь пустоту. Можно было подумать, что для них он не слепой, а невидимый.

Проще всего было бы прямо спросить у кого-нибудь о причинах такого отношения, но я стеснялся, не будучи полностью уверен в объективности своих случайных наблюдений. Вероятно, строил предположения я, у старика нелёгкий характер, он часто ссорится с людьми, поэтому они не хотят входить с ним в контакт даже по мелочам. Есть такое эгоистическое свойство у современных людей, породившее поговорку “а ля Жванецкий”: “Ни одно доброе дело не остаётся безнаказанным”. Не скажу, чтобы это объяснение меня удовлетворяло (ведь есть же элементарное человеческое милосердие, которое выше бытовых предубеждений!), но других я не находил. Тем более что через некоторое время, когда я стал постоянно жить в Симеизе летом, моё предположение в каком-то смысле подтвердилось.

Дело было во второй половине августа, на праздник Преображения Господня. Он отмечается в честь чудесного события на горе Фавор, когда Иисус Христос явился Своим ученикам с лицом, сияющим, как солнце, и в одеждах, белых, как свет. В этот день в церкви происходит освящение плодов. На юге они особенно изобильны и живописны. Стол возле “кануна” завален багровыми и ярко-жёлтыми персиками, словно распираемыми изнутри — того и гляди, брызнет — сладчайшей плотью, огромными пепельно-синими сливами, неказистыми на вид, с робким румянцем, но ароматными и сладкими крымскими яблоками, восковыми, точно тающими у тебя на глазах грушами, яйцеобразными, сморщенными, фиолетово-чёрными снаружи и альбыми изнутри смоквами, которые называют ещё инжиром, кулачковыми бахчисарайскими дынями, тёмно-зелёными продолговатыми херсонскими арбузами, розовыми, бокастыми, согнутыми внутрь, как боксёрские перчатки, помидорами “львиное сердце”, крепкими пупырчатыми огурцами и, конечно же, виноградом. Его особенно много, потому что именно об эту пору он созревает. У нас Преображение — это Яблочный Спас, а в Крыму, скорее, Спас Виноградный.

Сейчас в Симеизе возведён на Красной горке новый одноглавый храм-красавец в псковском стиле, золотой купол которого отлично виден и снизу, от моря, и сверху, с трассы Севастополь—Ялта. Он ещё не совсем отделан изнутри, в нём нет ни пола, ни иконостаса, ни царских врат, ни паникадила, но даже в самый знойный день внутри не жарко и легко дышится. А в описываемую мною пору Покровская церковь размещалась на первом этаже сложенного из дикого камня старинного двухэтажного домика в начале Советской улицы. К храму примыкала покосившаяся застеклённая веранда, служившая притвором, и открытая галерейка, увитая диким виноградом. Окна веранды выходили на восток, поэтому в церковке уже с утра всегда было жарко и очень душно, а что уж говорить о таких праздниках, как Преображение, когда храм до отказа набит народом! Платок, которым я отирал пот с лица и шеи, был насквозь мокр, хоть выжимай. Некоторые люди не выдерживали духоты, выходили на веранду, где, впрочем, было немногим легче. Но особенно тяжко, конечно, приходилось в крошечном алтаре священнику, отцу Евгению, и алтарникам. Мы-то все стояли в легких одеждах, а они служили в полном облачении!

Закончился евхаристический канон. Отец Евгений приступил к исповеди. Те, кто не исповедовался, в том числе и я, поспешили выйти наружу, подышать.

Напротив меня расположилась на перилах галереи компания — парень и две девушки, лет по шестнадцати-семнадцати. Они были, что называется, “невоцерковленными”, но на удивление терпеливо и смиренно, без обычных для молодёжи такого рода шуточек, смеха и тычков в спину простояли на веранде всю службу. Теперь им, особенно парню, хотелось размяться, подвигаться, но двигаться на узкой галерее, ограниченной с одной стороны кро-

шечным садиком, а с другой — проходящей внизу улицей, было негде. Парень ёрзал по перилам, сидел то прямо, то боком, а потом и вовсе свесился наружу.

— Ва-ау! Зырьте, что я нашёл! — вдруг крикнул он и, балансируя, вытаскивал откуда-то снизу, из увядших уже вьющихся лоз, здоровенную кисть винограда. Тут же и отведал:

— Сладкий!

Его подружки тоже попробовали и вмиг очистили гроздь.

— Ой, как классно! — воскликнула одна из девушек. — Мне так пить хотелось, думала, умру, а тут вдруг виноград откуда-то взялся!

Парень снова свесился вниз и сорвал ещё одну тяжёлую кисть, потом другую, третью...

Уже началось причастие, а я всё стоял и смотрел на них, не веря своим глазам. Они уплетали за обе щеки настоящий, крупный, просвеченный насквозь солнцем, как на картинах Сильвестра Щедрина, виноград да ещё приговаривали, что он сладкий! А я-то полагал, что галерея увита диким, несъедобным виноградом! А ещё я полагал, что вырастить съедобный виноград на крохотном городском клочке земли, больше напоминавшей пыль, невозможно. Одно из двух: либо сладкий виноград в этих благословенных широтах вызревает сам по себе, буквально на камнях, либо я стал свидетелем чуда, когда Господь, словно во исполнение Своих слов: “Я есмь истинная виноградная лоза, а Отец Мой — виноградарь”, вознаградил этих девушек и парня за терпение на литургии в день освящения плодов!

Не знаю, служба ли на меня повлияла, но я больше склонялся ко второй версии, тем более что я никогда не видел, хоть и жил в Симеизе в июле-августе не первый год, никаких плодов на увивающем церковную галерею винограде. А может быть, эта молодёжь просто забавляется, разыгрывая публику, и ест принесённый с собой и заранее спрятанный в сумке за оградой виноград? Проверить это было несложно, но высовываться за перила, подобно парню, мне было неудобно. Поэтому я тихо спустился с церковного двора на дорогу, прошёл под стенку палисадника, на которую небрежно, как отброшенная со лба прядь волос, свешивались перепутанные лозы.

Я не увидел таких крупных кистей, что вытаскивал парень, но мне сразу бросился в глаза опаловый блеск отдельных виноградин среди ржавых резных листьев. Я их сорвал и, почистив от дорожной пыли, попробовал: они, действительно, были сладкими и восхитительно ароматными. Враз опьянённый этим дивным вкусом, как глотком вина, я побрёл вдоль увитой виноградом стены из камня-дичка, невольно ища глазами цельную гроздь, но не нашёл и с грустью подумал, что Господь даровал мне только то, что я заслуживаю. Вот если бы я не усомнился, не стал бы подозревать молодёжь в розыгрыше или размышлять о неведомых мне особенностях вызревания винограда в Крыму, тогда, глядишь, и получил бы гроздь... А так — две-три виноградины... Но и за это спасибо. Проверить на вкус чудо суждено не каждому.

Я собирался повернуть обратно, как вдруг увидел знакомого слепого старика в зелёных очках. Он стоял прямо под распахнутым окошком церковной веранды и, казалось, прислушивался, вытянув тощую морщинистую шею, к пению из храма: “Тело Христово примите, источника бессмертного вкусите!”. Мимо него в опасной близости проносились автомобили, — тротуара тут не было.

Я почувствовал жалость к этому одинокому, увечному, почему-то никем не любимому человеку. Что он здесь делает? Может быть, он ощущает на склоне лет потребность в вере, но не смеет или стесняется войти в храм? А может, он просто уткнулся в стену на этом самом узком и опасном для пешеходов участке дороги в Симеизе и не знает теперь, как отсюда выбраться?

Я подошёл к слепому:

— Извините, могу ли я чем-нибудь вам помочь? Вы ищете вход в храм?

Он повернул голову ко мне, зашевелил обдуленным на солнце носом, точно принюхивался.

— Приезжий, — шамкая, сильным голосом уверенно определил он. — Из Москвы?

— Да, из Москвы.

Старик помолчал, потом спросил:

— Что ж — хорошо там?

— В Москве?

— Да нет, — усмехнулся он одной стороной беззубого рта, — в храме этом, вход в который, по-вашему, я ищу.

— Ну, смотря что вы имеете в виду. Физически стоять там тяжело — слишком маленький, не проветривается.

— Понятно. А людишки набились в него, как сельди в бочке. Батюшке-то богатые люди дали денег на новый храм, а он домик себе построил.

— А вы что, его видели, этот домик? — необдуманно задал я жестокий для слепого вопрос и внутренне осёкся.

Старик непостижимым образом уловил эту мою заминку.

— Не беспокойтесь, — снова криво ухмыльнулся он. — Да, я не вижу. Но очень хорошо слышу. Каждый шепоток слышу.

— В таком случае, не слышали ли вы шепоток, что на Красной горке батюшка строит новый храм?

— Да, говорят, положили там плиты под фундамент. Только вы уверены, что это для храма, а не для нового домика?

— Лично я уверен, — сказал я, не вдаваясь в объяснения.

Но старика такой ответ не удовлетворил.

— А почему вы уверены? — допытывался он.

— Потому что это место освятили как будущий храм и установили там крест. Ни один священник не решится теперь строить там дом.

— Вы так думаете? А рядом с церковью он может построить себе дом?

Я не ответил. Ехидный релятивизм деда мне уже успел надоест. Я начал понимать отношение к нему местных. Но всё же не хотел уподобляться им.

— Вы стоите прямо на проезжей части, — заметил я старику. — Большой автобус или грузовик может просто расплющить вас по стене. Если вам надо выбраться отсюда или перейти на другую сторону улицы, то я вам помогу.

— Я без малого шестьдесят лет перехожу с палочкой эту улицу. Пока никто меня не расплющил. Вы думаете, я не услышу автобуса или грузовика? Я слышу его ещё от Алушки. А выбраться я могу без всякой помощи из любой точки Симеиза. Я здесь каждый камень знаю.

“Но не по этой же причине симеизцы не помогают вам?” — вертелся у меня у меня на языке вопрос столь же жестокий, как и про “батюшкин домик”, но я, слава Богу, не задал его.

— Я просто стою здесь, слушаю, — счёл, наконец, необходимым объяснить своё поведение слепой. — Про “источник бессмертный” и тому подобное. Ну, вкусили они этого источника. А зачем? Сами-то они не бессмертные.

— Телесно — да. Но христианство учит о бессмертии человеческой души.

— Чьей души?

— Как это — чьей?.. Моей, вашей... каждого человека на земле.

— Каждого-каждого? Значит, все мы бессмертны — и те, что уже умерли, и те, что ещё не родились?

— Ну да, все.

— Не представляю, — насмешливо покачал головой слепой. — Не представляю, как эти все души учитываются в небесной канцелярии, и где они там размещаются. Вот, допустим, что вы вечный, а остальные все умирают. Да вы на сотом человеке и фамилии их перестанете помнить. А тут, — он ткнул пальцем в окошко церковной веранды, — учёт ведётся только по именам! Вот в прошлом месяце они праздновали Петра и Павла. Вы что, хотите сказать: души всех Петров и Павлов бессмертны?

— Думаю, всех.

— Да ерунда всё это. Не верю. Только эти оба и бессмертны, только их и помнят по именам.

— Кто помнит?

— Ну, кто? Люди, Бог этот ваш, дьявол — не знаю, кому ещё надо нас помнить.

— Мне кажется, дело обстоит несколько иначе. В чём смысл крещения людей по именам? Если вы крещены в честь апостола Петра, то он и есть ходатай перед Господом о вашей душе, и о душах других Петров тоже.

— Как крёстный отец, да? Только и он, я думаю, на сотом Петре забудет, кто есть кто.

— Не забудет. Обыкновенный выпускник духовной академии обязан помнить всех земных предков Иисуса Христа, всех библейских пророков и всех епископов, которые жили до разделения Церквей. Это сотни имён! А апостол Пётр — не выпускник духовной академии, берите выше. Он святой.

— А я вам вот что скажу про этих Петра и Павла. Один из них предал Христа, а другой, может быть, судил. Немного чести Петрам и Павлам, что у них такие защитники!

— Но они сами прошли через муки и смерть, — напомнил я.

— Да, прошли, потому что решили вкусить “источника бессмертного”, о котором там поют, — кивнул в сторону храма слепой. — Прославиться, стало быть. Ведь помнят только тех людей, которые совершили великие подвиги или великие преступления. До остальных никому нет дела. Ну, слава за самое великое преступление досталась Иуде, Пётр и Павел тут сбоку припёка. Вот и решили они совершить великий подвиг, чтобы прославиться навеки.

— Неужели вы думаете, что в этом трошаре — “источника бессмертного вкусите” — речь идёт о славе?

— А о чём же? Разве есть ещё какое-нибудь другое бессмертие? “Вкусите славы Иисуса Христа” — вот что поют они... Для них она — источник бессмертия. Потому что бессмертия для всех не бывает, как не бывает для всех на земле богатства и счастья. Кого помнят люди, тот и бессмертен. А тем, кого не помнят уже родные внуки, и бессмертия-то никакого не нужно. Чего им там летать в небесах в одиночестве, таращиться на забытую их Землю? Так что батюшка прав, если вместо церкви построил себе домик, — неожиданно заключил слепой.

— При чём здесь домик? — удивился я.

— А при том. Бессмертие — это казарма какая-нибудь в небесах, где души простых людей разложены по полочкам-нарам. И только начальники живут в своих домиках. У них и здесь были хоромы, и там будут. Откуда, вы спросите? Из нашей памяти! Они строят себе домик в вечности из нашей памяти о них. А у безвестного бедолаги какого-нибудь, если здесь ничего не было, то там и подавно не будет. Поэтому, если есть возможность построить в этой жизни домик, то обязательно надо строить.

— А если нет такой возможности, надо украсть?

— Надо украсть. А то у тебя украдут — бессмертные эти.

Конструкция здешнего и загробного миров, предложенная человеком в зелёных очках, была грубой и прямолинейной, но я не нашёлся сразу, что ему возразить. Моей христининой пятой было писательство. Если бы я твёрдо, как и положено христианину, верил в личное бессмертие, то давно бы уже перестал переводить бумагу. Во всяком случае, не сделал бы писательство своей профессией. Наверное, нет человека, которого исподволь не точила бы мысль, которую в резкой форме высказал этот слепой старик. Тот, кто приказал высечь на скале одну из древнейших надписей на земле: “Я Кир — царь Ахеменид”, тоже, мне кажется, не очень-то верил в личное бессмертие, зато явно верил в посмертную славу.

Но оставлять последнее слово за неверующим стариком я не имел права. Я ведь только что стал свидетелем чуда с виноградом! Да и такой ли уж он неверующий, этот слепой? Зачем он тогда стоит здесь, слушает? И на Петра и Павла, оказывается, приходил. Я посмотрел на старика. Он улыбался лиловыми сморщенными губами, видя, вероятно, своим внутренним оком мои сомнения.

— Что ж, эта мысль приходила в голову не только вам, — сказал, наконец, я. — И мне, конечно же, приходила. Но знаете что? Идея бессмертия для избранных посредством славы материалистически столь же необъяснима, как идея бессмертия для всех. Если я правильно понял, вы считаете, душа человека после смерти находится в забвении, пока о нём не вспомнит

кто-нибудь живой. И тогда возникает некий сверхчувственный контакт, вызывающий феномен бессмертия души. Но разве не имеет значения, что именно вспоминают живые о мёртвом? Может быть, многие покойники, прославившиеся злодействами и преступлениями, вовсе бы не хотели, чтобы живые вспоминали о них? Может быть, страдания, которые они испытывают при этом, и есть так называемые адские муки?

— Какие адские муки? — закричал вдруг, брызгая слюной, старик. — После этого ада — ещё и адские муки?! Я проклиная бессмертие, о котором они там поют! Мне оно не нужно! И никому не нужно! Что это за бессмертие, замешанное на страдании? Страдать в этом мире, страдать в том!.. Нет! Не хочу! Пропустите меня! — Он ударил меня по ногам, потом по стене своей палочкой и зашагал мимо, задрвав голову, характерной походкой слепого — слегка приседая.

Тут со стороны шоссеинного кольца появился большой автобус, о котором я его предупреждал.

— Осторожно! — закричал я старику. — Возьмите вправо!

Несколько симеизцев, идущих по другой стороне улицы, оглянулись и как-то странно посмотрели — причём на меня, а не на слепого, по своему загадочному обыкновению.

Он же шагал, как ни в чём не бывало, не обращая внимания ни на моё предупреждение, ни на автобус. Шофёр посигналил; когда же старик и на этот раз не отреагировал, поддал газу и мастерски проехал впритирку к нему — в каких-нибудь десяти сантиметрах. Подобное я видел не раз: водители здесь, натренированные ездой на горных дорогах, — настоящие асы. Автобус скрылся; вскоре исчез за поворотом и человек в зелёных очках. Жизнь его мне представлялась непостижимой. Где он, бедняга, живёт? Кто за ним ухаживает? И почему Господь свёл меня с ним на праздник Преображения, показав мне сначала чудо с виноградом? Было ли это противопоставлением? Или, напротив, одно событие было каким-то необъяснимым образом связано с другим?

Из общения со слепым стариком я отчасти понял, почему его сторонятся симеизцы, но только отчасти. Ведь вряд ли он заводил с ними беседы о личном и коллективном бессмертии. Ну а если и заводил — что ж такого? Да, он явно склонен к неприятным разговорам, высокомерен, колюч, но разве он один на свете такой? Да и какие разговоры должен вести человек, погружённый в вечную темноту?

После этой встречи я никогда больше не видел слепого старика из Симеиза. Может быть, он умер, а может, его отправили в дом инвалидов. Лишь минувшим летом я узнал разгадку непонятого для меня отношения к нему симеизцев. Мне осталось лишь понять, почему именно со мной он разговорился близ церкви, и кому это было больше нужно — мне или ему.

Однажды после жаркого дня мы с женой пошли побродить по Симеизскому кладбищу, расположенному на горе, выше новой церкви. С византийских времён покойников на Южном берегу хоронят в каменных могилах, поскольку земли нет. Но не только этим примечательны крымские кладбища. Здесь порой встречаешь совершенно неподражаемые надгробные надписи. Вот, например: “Жизнь такова, какой мы её делаем. Моя была восторг и праздник, торжество вечнозелёной природы, пир одиночества и музыкальной классики. Салмин Альфред Георгиевич. 1934—2000”. С фотографии на вас смотрит улыбающийся, экстравагантно одетый (кажется, в австрийскую военную форму времён Штрауса, с круглой фуражкой) мужчина. На шегольском надгробном камне — изображение знаменитой скалы Дива у Симеиза. Это, что называется, интеллигентская эпитафия. Автора её, безусловно, тоже одолевали мысли о возможности вечного забвения после восторга и праздника жизни, иначе бы он не был столь патетичен. А вот — эпитафия крестьянская, на украинском: “Він закінчив життя, в цілому покладаючись на Господа. Пом’ятуємо, кохаємо, сумуємо. Жінка, діти та онуки. Ткач Петро Тимофійович (1929—96)”. Едва ли трудовая жизнь Петра Тимофеевича была “восторг и праздник” и уж точно — не “пир одиночества”, но вот проблемы забвения его явно не интересовали в той же степени, что нас, интеллигентов. Он и тут, вероятно, предпочитал “покладатися на Господа”.

Я усмехнулся, поймав себя на мысли, что продолжаю заочно свой спор со слепым стариком о бессмертии.

Мы миновали территорию нового кладбища и вышли на главную аллею. Здесь, на широком надгробье, стоит небольшой обелиск с лаконичной надписью: “Три неизвестных советских танкиста и один рабочий зверски замучены немецко-фашистскими оккупантами. Декабрь 1941 г.”. Вокруг обелиска — несколько больших надгробных плит с именными табличками в виде небольших каменных уголков. Они окружены цепями и украшены по углам якорями. Но похоронены здесь, кажется, в основном не моряки: “Рядовой Зубов И. Г. Ум. 1945 г.”, “Рядовой Адебаев. Ум. 1946 г.”, “Ефрейтор Ефимов С. И. Ум. 1946 г.”, “Сержант Пашков И. Н. Ум. 1946 г.”, “Майор Корнеев С. А. Ум. 1946 г.”, “Рядовой Карпач А. Д. Ум. 1946 г.”... Может быть, морские пехотинцы? Во всяком случае, точно можно сказать только об одном усопшем, что он был военный моряк: “Матрос Мазурик О. К. 1926—1946”.

Всего в ограде из якорных цепей покоились тридцать военных, из которых пять человек умерли в 1945 году, а двадцать пять — в 1946-м. Я гадал: а какова причина смерти тех, кто умер в 1946 году, и почему их в пять раз больше тех, кто ушёл из жизни в 1945-м, когда ещё шла война? Может быть, они стали жертвами какой-нибудь катастрофы, диверсии или массового отравления? Я стал искать отдельную табличку, извещающую о том, что же за трагедия здесь приключилась в 1946 году, но ничего похожего не увидел.

— Вы чью-то могилу ищите? — услышал я женский голос. — Не стесняйтесь, спрашивайте, я вам подскажу.

Я поднял голову и увидел за одним из памятников пожилую рыжеватую женщину с двумя пятилитровыми пластиковыми бутылками воды в руках. У ног её вилась две собаки — большая и маленькая.

— Почему большинство этих людей умерло в сорок шестом году? — спросил я, указывая на надгробья. — Что здесь произошло?

Женщина поставила бутылки на землю.

— Скончались от тяжёлых ран. Здесь же госпиталь был неподалёку, они в нём лежали. А дальше — могила нашего Героя Советского Союза Николая Тихоновича Васильченко. Он умер в восемьдесят пятом году. А там, у входа, похоронены три танкиста и один рабочий. Видели памятник? В сорок первом, во время боёв, наш танк не удержался на склоне, съехал вниз, застрал между скал — как раз там, где теперь аптека. Танкистов и этого, четвёртого, про которого написано, что он рабочий, спрятали местные жители возле санатория Семашко. Но нашёлся предатель, донёс об этом, и немцы их замучили. Танк этот после войны из расщелины вытащили, — помню, я девочкой бегала смотреть. Мы с родителями сюда приехали в сорок четвёртом году, когда татар выселили. Тогда здесь было много всякой разбитой техники. В гору Кошка немецкий самолет врезался. Мы ходили под гору собирать этот... как его... тротил — трубочки такие...

— А этот предатель, — перебил я её, находясь под впечатлением рассказа о трагической судьбе танкистов и рабочего-подпольщика, — он что, был из немцев-колонистов? Или крымский татарин?

— Да нет, из наших. Жил здесь с мамой. В сорок четвёртом партизаны ему отомстили: глаза выкололи. Он всё ходил потом по Симеизу — с палочкой, в зелёных очках...

Я сразу понял, о ком идет речь. И не стал больше ни о чем спрашивать.

Над кладбищем сгустились сумерки. С соседней горы на него напозало облако, подсвеченное лучом уже невидимого, свалившегося за Яйлу солнца. Через несколько минут оно окутает мерцающим, плотным, влажным туманом и нас, и могилы... Уже явственно слышался запах озона, как после дождя. Я вспомнил, что в светлом облаке, по представлению древних, являлся людям Бог... А далеко внизу, вдоль моря, слившегося с потемневшим небом и казавшегося оттого бездной, цепочкой загорались огни вечернего Симеиза, по которому фланировали загорелые, подвыпившие, беззаботные люди. Они шли мимо аптеки, на месте которой застрал в сорок первом году танк, мимо санатория имени Семашко, где истязали танкистов и рабочего... Оттуда едва доносился шум курортной жизни, не знающей и не желающей знать, как тяжело бывает бремя человеческого выбора.